

«Нам каждый гость ниспослан богом»...

*Когда умру, поставьте на моей могиле
памятник с надписью: «Здесь лежит че-
ловек, который никогда не носил очков».*

Куприн

Помыться давно пора...

Ленин

Сентябрь 1913 г. Седьмое число (по н. стилю). Именины. Куприну сорок три... [Взял не круглую дату. Спросите, почему? Да согласитесь, господа, это сейчас мы меряем гениев юбилеями: иначе за веком не поспеть. Одновременно разбирая их, гениев, десятилетия суетных будней – на сутки, часы, минуты, атомы, протоны... Посему – практически спонтанный выбор.] Но приступим...

Примечательный год

В эти дни, покрытые первым осенним золотом, Куприн с восторгом прочтёт в газетах о «мёртвой петле» Петра Нестерова. Вспомнив единственный и, увы, трагичный свой полёт на аэроплане... (о чём чуть позже).

Стравинский, недавно прямо-таки нокаутировавший западную публику «Петрушкой», ставит в Париже «Весну священную», воскрешая позабытый развращённой цивилизацией языче-



ский мир древности: бессюжетный «поцелуй земли» в преддверии «запрограммированной» глобальной войны.

К празднованию 300-летия дома Романовых фирма «Ханжонков и К» выпускает фильм «Воцарение дома Романовых» В. Гончарова и П. Чардынина по мотивам М. Глинки: «Жизнь за царя».

Казимир Малевич ошарашил авангардистов «Чёрным квадратом на белом фоне». Как оказалось, ошарашил на века...

Пятидесятилетний Рабиндранат Тагор первым среди неевропейцев удостоивается литературной нобелевки за «глубоко почувствованные, оригинальные и прекрасные стихи».

Куприн живёт в любимейшей Гатчине, где два года назад купил в кредит «зелёный домик», как он назвал его:

*Не дача, Вы сказали, – рай,
Ах, в каждом рае есть изнанка,
В сем рае я не барарай,
Но только старший дворник банка.*

Шутливо пишет он другу Шеплявскому по поводу денежной «кабалы», на которую он пошёл намеренно, – горько сожалея о потерянном крымском рае – Балаклаве, откуда его безапелляционно выперли после помощи севастопольским бунтовщикам в 1905-м. А ведь он так страстно хотел там похозяйничать – ухаживать за цветами, выращивать всяческую «ерунду»: свежую снедь; гурманничать, в конце концов. [Куприн – гедонист ой-ой-ой какой! – ещё тот. – И. Ф.]

На Гатчине он вдоволь оторвался: «Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берёз и пахнет терпким весёлым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белоствольных берёз благоухает, как крепкое старое, драгоценное вино», – бесконечно

любя, зачарованный природой, – пишет он в рассказе «Шестое чувство».

И позднее – в загранке – он ощущал бескрайнее сожаление по оставленным в России растениям: «...мне не жаль собственности, но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника “Виктория” и парниковые дыни-кantalупы “Жени Линд” – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь» («Купол св. Исаакия Долматского»). – Жалуюсь «в платочек» верной подруге по дореволюционной Империи – писательнице Тэффи, которая, в отличие от погрузневшего и посеревшего в эмиграции Куприна, довольно бурно развила в Париже свои общественно-журналистские и администраторские таланты.

Восемь утра. Куприн бодро встал. По привычке гордо, с царской важностью прошёлся по «владениям»: цветник, огород, птичник¹. На огороде делались попытки выращивать какие-то невиданные мексиканские чудачества. Над цветами производились сложные опыты по «научному», и не только, скрещиванию. В птичнике преобладали очень живописные, но плохо несущиеся куры и бойцовые петухи. Всё это – удавшиеся и неудавшиеся опыты, пестование и опека над разным ручным, и не очень, зверьём – делало Куприна без экивоков счастливым и привносило радужное расположение духа.

Невеликая числом прислуга – 2 человека (кроме няни): дворник и кухарка – уже всю суетились по хозяйству. В плане экономии можно бы обойтись и без кухонной помощницы, частенько думал Куприн, если бы не батыевские наезды божественных орд: пришедшие «негоцианты», подобно достославной «Башне» Вяч. Иванова, жили неделями, – для чего последний прирастил к башне отдельную комнату. Куприн в радушии также по-ивановски не отказывал: «Нам каждый гость ниспослан богом», – говорил он супруге Елизавете, самоотверженной доброй женщине, готовой всё отдать на благо семьи, мужа и его нескончаемых друзей.

Пока никого нет, Куприн идёт в кабинет. Подходит к окну, распахивает раму навстречу буйству запахов цветника. С ароматными астрами и хризантемами всевозможной окраски: «От них пахнет морозцем и перчиком... э-э-х», – в сладостной истоме потягивается Александр Иванович, берёт колокольчик со стола и «вызывает прислугу». Все в доме знают эту его привычку – беспечный металлический звон поднимает настроение перед работой.

¹ Уч-к был мизерным, сотки 3–4. *Прим. автора.*

Вообще же неугомонные супруги обожали перемещать хозяйский кабинет из комнаты в комнату: переставляли мебель, из гостиной делали детскую, из детской – кабинет и *т.д.*

Летом Куприн обычно удалялся в глубину сада, в самый тенистый уголок, где густо росли деревья, тополя, ёлки, рябина, сирень. Посредине махонького пятачка – врытый в землю грибовидный стол из толстого сруба и полукруглая скамейка. Там, запасшись холодным квасом, Куприн часами просиживал вместе со своим стенографом Комаровым, в дождливую погоду перебираясь на террасу...



А.И. Куприн в Гатчине

Первым делом – ящик с «человеческими документами» – корреспонденциями. Хоть одному читателю, да надо ответить. Это закон. Ведь творец до тех пор нужен стране, говаривал Куприн, пока с ним переписывается и думает о нём публика. Александр Иванович садится за сосновый, гладко выстроганный простой плотницкой работы стол: всюду, где бы он ни жил, заказывал себе такие вот «немудрящие», прочные, с тяжёлыми верхними досками. Глубокомысленно принимается за чтение.

Если по мановению волшебства внезапно очутиться сейчас здесь, в кабинете и встать напротив, лицом к нему: – улыбаясь, внимающему «документам эпохи», – то убранство стола будет выглядеть следующим образом. Слева направо: старинная массивная фарфоровая чернильница. Далее большая стопка книг, приготовленных для чтения. Лампа с матерчатым абажуром. Правее – завизированный размашистым почерком фотопортрет: «Александр Ивановичу Куприну – Лев Толстой», на который он периодически поглядывает, будто советуясь, принимая то или иное решение. Кстати, с его же слов мы знаем, что это фото доставил ему писатель П. Сергеев в 1906 г. по инициативе самого Льва Николаевича, причём Толстой просил передать поклон и совет «писать по-своему».

Толстого Куприн лицезрел лишь однажды, мельком, получив любезное приглашение приехать в Ясную Поляну. Но, два раза собираясь туда отправиться..., так и не смог доехать: «Страшно было! – оправдывался, растерянно разводя руками: – Нет,

ей-богу, мне казалось, что старик посмотрит на меня своими ключими глазами и сразу всё увидит. А мне делается стыдно и страшно...», – тут же вспоминая «живого свидетеля» Бунина, рассказывающего ему про Чехова перед тем, как первый раз идти к Толстому, целый час выбиравшего себе брюки, боясь представиться щелкопёром или сверх того – нахалом.

«Вы знаете, – уничижительно по отношению к себе говорил Куприн, – за что я ни возьмусь – бросать должен: уже старик сделал. У него всё есть. <...> Я пробовал было в пику его «Холстомеру» написать своего «Изумруда» и должен был устыдиться. Бледно, чахло в сравнении с его творением. Разве можно с ним состязаться! Чувствую, что, если бы я родился сто лет спустя, – пожалуй, тогда я начал бы писать, тогда и на мою долю было бы что-нибудь новое из живой жизни. А теперь старик всё забрал. Он ограбил всех нас. На сто лет ограбил...».

Эти обжигающие строки стоят передо мной, сегодняшним, в рамочке на столе, как у Куприна – портрет Толстого. И я обескураженно восклицаю через 100 лет после: «Разве можно с ними со всеми состязаться!!». Вдруг оказалось, что всё «новое из живой жизни» осталось там, с «забытыми» ими – Толстым, Куприным, Тургеневым и Тютчевым, Андреевым и Лермонтовым, обернув новые поколения сочинителей в цветастую фольгу из реминисценций прошлого. Причём недостижимого прошлого, оттого ещё более сладостного, сладострастного. Но отвлеклись...

Тут же, рядом с портретом, стоит упомянутый выше старинный бронзовый колокольчик – подарок Ф. Батюшкова (о коем – далее). Возраст этого изящного колокольчика для вызова слуг – больше века. Он принадлежал знаменитому арзамасцу по прозвищу «Ахилл» (у всех «арзамасцев»-карамзинистов были смешные прозвища, – И. Ф.) – Константину Батюшкову, другу Державина, Капниста и Львова, сослуживцу Крылова и Уварова, вдохновителю Пушкина. Если присмотреться к колокольчику внимательней, то вы заметите – его длинную ручку игриво обвивает хвостом рыба, головой упираясь в элегантную «юбочку». Тут же приходят в голову купринские «Листригоны» – балаклавские рыбаки, браконьеры, матросы. Возможно, когда он придумывал свою «Господню рыбу», он бережно держал в руках подарок любимого друга Фёдора Дмитрича – звонкий бронзовый колокольчик. И смотрел на эту чудную «апокрифическую» рыбу.

Куприн морщится, чуть щурясь: один глаз видит хуже другого. Но никто в доме об этом не знает, даже супруга. Не терпя-

щий нытья от окружавших его людей, себя он держал в узде, не давая волю жалобам. Всю жизнь он писал о сильных и здоровых богатырях, профессиональных борцах, настоящих мужчинах, боготворил их. Да и сам был богатырём. И кстати, очки Александр Иванович надел только за 2 года до смерти, в 1936 г. Болезнь отняла у него до 70 процентов зрения, что он восполнял острым слухом и чутким обонянием, кои у него великолепно работали в старости.

Пока Куприн занят разбором почты, пройдемся по комнате...

Из-за дверей, со столовой слышен приглушённый кастрюльным стуком лай громадного пса меделянской породы по прозвищу «Качай». Сегодня ради праздника бездомному бродяге разрешили побыть в комнатах: подали еды, вот он и благодарит. По стенам развешаны офорты и акварели – подарки знакомых художников. Среди них блестящая композиция близкого друга П. Щербова «Базар XIX века», тонко шаржированные изображения импозантнейших деятелей русского искусства и литературы. (До приобретения «зелёного домика» Куприн около года жил у Щербовых. – В.Е.). В углу кабинета украшенный резьбой оливковый ящик, где в формате небольшой библиотечки собраны переводы «Поединка» – испанские, польские, итальянские, чешские, французские, английские, японские, немецкие... Всего около 20 томиков. Убранство кабинета дополняет большой бордовый хоросанский ковёр, разостланный по полу. «Хороший ковёр необыкновенно располагает к размышлениям», – утверждал Куприн.

Звонок!

«Ну, пора и по ко́ням», – встрепенулся Александр Иванович, поставив точку на листе бумаги: ответы на 2 письма готовы, супруга пошлёт адресату.

Полдесятого...

– Молоток! – кричит Куприн домашним.

Инструмент нужен, чтобы открыть, выбив молотком щеколду, вторую половинку двери для гигантского борца Вахтурова – первого пришельца поздравить. В одну же створку Николай, – «Мыкола», как звал его Заикин, – не пролазил: это было уже проверено ранее. За Мыколой пружинисто, как по спортивному помосту, шествовал второй борец, тоже немаленький: Иван Заикин. Третьим – цирковой артист Жакомино. В отличие от степенных франтоватых друзей-силачей подвижно-вертлявый суховатый Жакомино по-

явился одетым в женское – с запелёнутым ребёночком на руках, словно сойдя с экрана немого кино. Клоун искусно подражает крику младенца.

При виде именинника он делает неосторожное движение. «Малыш» неожиданно падает на пол!.. Бумажные пелёнки развёртываются, и в них... – толстый батон колбасы – «забугорной» итальянской «салями», приготовленной «мамой Чирени» – женой Жакомино. Волна дружного смеха запруживает дом... Смеха тут будет нынче много.

При этом Куприн вовек не опускался до тупой обывательской болтовни, бездумных рассуждений «вообще», тривиального «перемывания костей». К мелкому пересуживанию всяких пустяков он относился, как к чему-то лично его обижавшему.

А поскольку мы, дорогие друзья, волшебным образом незримо присутствуем тут же, с Куприным и гостями, меж коими шустро снует дрессированный пёсик Дики (клоун не расставался с собачкой), позвольте припомнить одну «цирковую» ремарку, связанную с приплывшим в гатчинскую гавань весёлым артистическим людом.

Смотрины

Великий борец и циркач Иван Заикин, – приятель Поддубного, Вахтурова, Уточкина, – беспощадно себя корил, дескать, взял Александра тогда, в Одессе, на борт «Фармана». «Что на меня нашло? Чёрт попутал... – недоумевал он позднее: – Может, давнее моё потешное, ни к чему не обязывающее обещание?». Но Куприн не был бы Куприным, если при удобном моменте не настоял: мол, пора бы и взлететь. Иначе, когда ещё сподобимся?

Дело происходило осенью 1910 г., на показательных выступлениях русских авиаторов, когда Заикин, сам отнюдь не игрушечного весу, принял-таки в открытую всем ветрам кабину хлюпкой деревянной посуды – «табуретки» тучного писателя. Полёт кончился плохо: пилоты чудом спаслись после падения, к тому же героически отведя аппарат в сторону от возбуждённой толпы, избежав множественных жертв.

Менее же известна следующая история...

После неудачного полёта, как обычно бурно отметив «новую жизнь» с цирковыми друзьями – итальянцем Джакомо Чирени

по прозвищу «Веселящий газ» и богатырём Заикиным, Куприн, широкая душа, выпросил у одного козлёнка, у другого – медвежонка(!). Через какое-то время в «зелёном» гатчинском доме де-тишкам на радость появился медвежонок, точнее, «медвежиха» – Маша. Шуму и визгу, и бардака стало – «унеси ты моё горе!», как любил говорить Чехов. Вроде можно и успокоиться... Тем более, что Жакомино вовсе запомнил про козлёночка. Хватало и так живности, кроме курей, забредших из лесу «помойных» собак, которых Куприн подкармливал. Ещё и косолапый. Но нет. Куприн не был бы Куприным, если б не послал в цирк с громким названием «Модерн» клочок бумаги следующего содержания:

*Обещал козлёнка –
Обманул ребёнка.
Старый ты кретин!
А. Куприн*

После чего Жакомино ничего не оставалось делать, как привезти в Гатчину козочку в розовой подарочной ленте с привязанным бурдюком свежего грузинского вина. Вот уж прибавилось забот нянечке – дородной румяной Сашеньке, и толстой кухарке Дуняше, отдуваясь, носящейся теперь со всем этим зоопарком. Одно время жила даже обезьянка.

Собственно, мы и подошли к незатейливому сюжету, обращённому к упомянутой крале Саше, ухаживающей за купринскими детьми.

Двадцатилетняя. В самом соку...

Куприн не был бы Куприным, если б раз от разу не представлял её женихам. (Как правило, першим друзьям в минуту бурных журфиксов-посиделок.)

– Ну, Саша, нашёл я тебе суженого, – вызвал как-то Куприн няню на смотрины. – Приоденься, причешись и прилетай быстрее в мой кабинет. Будем тебя сватать.

Является, значит, девушка в кабинет вся разодетая, пылающая от волнения и... скромности. По центру комнаты стоит огромного роста парень в косоворотке, по-дурацки лыбится.

– Ну как, нравится тебе невеста? – серьёзно спрашивает Куприн.

И только в уголках глаз – смеются хитрые чёртики. Долговязый жлоб отвечает противным низким голосом:

– Нравится. Истинно русская красавица. Кровь с молоком, э-э-х..., – рубанул рукой воздух.

– А тебе, – спрашивает писатель, – нравится жених?

Сашенька исподлобья глянула и категорично мотнула выбивающимся из-под косынки густым хвостом:

– Не нравится. Бритый. А я с усами хочу.

Куприн, абсолютно вжившись в роль свата, принялся нешуточно уговаривать, настаивая на том, что парень уж больно хорошо, просто замечательно поёт!

– Фи, – вовсе скуксилась невеста, – без усов, да ещё шарманщик, да одет по-деревенски.

В итоге дело полностью провалилось, и рубаху-парня решительно отвергли.

Вскоре после смерти младшенькой Зиночки нянечка Саша, безумно её любившая, покинула Куприных. Уехала к себе в Одессу. И нашла там свой выстраданный идеал с большими чёрными усами – героя Цусимы, лётчика-авиатора, превосходно помнящего злополучный полёт Заикина-Куприна 1910-го, почитателя таланта автора «Поединка». Перед самым отъездом Сашенька случайно узнала от купринских визитёров, что тот нескладный деревенский «женишок» был... Шалапин.

Заикинский медвежонок – Маша к тому времени выросла, и её отдали в цирк. (В скобках: затронутую обезьянку тоже отдали в цирк, потом – в зоопарк по причине крайне неуживчивого характера.) А у подаренной клоуном Жакомино очаровательной белоснежной козочки, с которой неразлучно спала маленькая дочка Ксюша, постепенно выросла борода, большие рога, появился сильный запах, и она оказалась... козлом. Прототипом героя купринской «Козлиной жизни».

Гости

Съезжались все к завтраку, примерно к пол-одиннадцатого. Куприн встречает каждого лично, для каждого найдя приветственные фразы с неистощимыми налётом юмора и буйной фантазии.

Писатель А. Будищев – гатчинец – принёс подарочный стих. Ухо резанула одна рифма: «откупорена» – «Куприна» с ударением на 1-м слог.

«Нет! – возмущённо вопит хозяин. – Я устал повторять: моя фамилия произносится с ударением на втором слог, так как происходит от названия дрянной речонки в Тамбовской губернии – Купры́». (Здесь они схожи этимологией фамилий с Серге-

евым-Ценским, у которого корневая сущность также заложена в названии тамбовской реки Цна. – И. Ф.)

Вспыльчивый, но не злопамятный Куприн добродушно встречает посланца бульварной газетёнки «Против течения», наемни напечатавшей гнусоватый, не очень приятный памфлет на именинника. Примиренчески встав на одно колено, гонец от редактора-издателя Ф. Райляна – журналист-сатириконец Е. Хохолов – протягивает хозяину дома отменно сделанную массивную казацкую нагайку.

Со словами нескладных строк:

Что подарить мы // В восторге рьяном //

Тебе могли, // Ну, угадай-ка? //

На «всякий случай» // С Фомой Райляном //

Тебе дарится // Сия нагайка!

Типа пусть хозяин отхлещет провинившихся щелкопёров и... простит. «Слишком благородное оружие», – шутливо погрозив штрафникам, бережно вешает тяжёлую нагайку на стену старый солдат Куприн.

Поскольку в доме уже собралось достаточно человек, дабы соорудить небольшой «церковный» хор, Куприн раздаёт слегка распоясавшимся от алкоголя «певчим» наскоро сделанный экспромт к юморной встрече очередного посетителя: критика Измайлова, сына священника, бывшего семинариста и настойчивого собирателя бурсацкого фольклора. С порога его громогласно встречает старинный семинарский запев «на седьмой глас»:

Сидячу на яблоне, да // Питахуся сливами, да //

Он меня бия-яху, // Я же вопия-я-яху: //

«Постой, дяденька, не бей, // Дам тебе пару голубей!» //

Слава силе твоей, го-оспо-оди-и!

«Без бутылки не обойтись!», – хохочет «сумеречный», как его прозвали друзья, А. Измайлов (Смоленский), вытаскивая из приличного виду чемодана пузатую трёхлитровку самогона. Не было края радости в сей мужской компашке!

Приехал с женой набриолиненный Яков Адольфович Бронштейн – инженер, меценат артистической поросли суворинского театра, влюблённый в свежий, пышущий багрянцем перемен талант Васи Топоркова (в будущем дважды лауреата Сталинской премии, нар. артиста СССР). И сам неподражаемый чтец за душу берущих рассказов Шолом-Алейхема.

Дядя-Яша, «Яшенька», «Яша-Макао», как всегда, свержоригинален. Посвятив Куприну переведённую им на французский язык популярную солдатскую песню «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поёт!», сам её спел под невообразимый зрительский гогот:

*Россиньёлъ, россиньёлъ, // Пти т'уазо, //
Лё канарие // Шант си трист, си трист! //
Эн... Дё... // Иль нья по де маль!
Лё канарие // Шант си трист, си трист!*

...Мы, незримо обретающиеся здесь, рядом, если вы ещё не забыли, уважаемый читатель, воспользуемся передышкой (пока, вдоволь насмеявшись, гости нальют за здоровье по второй-третьей). Освежив в памяти потешный случай, связанный с Дядей Яшей и купринским другом «по крови» Александром Грином.

Дядя Яша-Макао и Манька-Суматоха

Яшу-Макао, прозванного так за карточную страсть, к тому же одинаково усердно и бурно празднующего, как еврейские, так и православные праздники, – добродушного, общительного, хлебо-сольного, – упоминали многие. Писал о нём и Куприн. Только у Куприна тот был Яшенькой Эпштейном, а не Бронштейном, каковым Яшу знала питерская богема. И слыл он «милого лику», обаятельным, широкой души – известным всему городу покровителем и меценатом театра, литературы, искусства, хотя в реале, по сути своей – типичный бретгартовский Джек Гемлин в «русских условиях».

Яков Адольфович познакомил Куприна с великим еврейским писателем и бесподобным юмористом Шолом-Алейхемом. У «дяди Яши», – так его звал Петербург, – одалживались Грин с Куприным в роковые минуты. Когда же находились при деньгах, как правило, небольших, непосредственно дяде Яше вручали «мазу» на подъём, чтобы в общем выигрышном банке получить хоть мизерную прибыль. По обыкновению, Яше чертовски не везло. Невезенье он смело сваливал на чужие принятые «мазы», сбивающие фарт. Но неизменно продолжал брать у друзей деньги на прикуп.

«– ...Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли? – Спросил Бронштейн.

Юнг гладко солгал:

– Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета – если я впустую играю перед настоящей игрой один удар с кем-нибудь этой колодой, – мне должно тогда повезти за любым столом.

– Хорошо, – сказал Бронштейн. – Все мы игроки – чудачки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай, солнце и... хотя бы... луну...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скупающим видом приподнял свои три карты.

– Девять, – с неизменяющим игроку никогда, даже при игре «впустую», удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три...»

Так показана Яшина игровая хватка, – противостоянием судьбе и неумолимой Смерти, – в повествовании Грина «Клубный арап». К слову, деваться Грину было некуда, и он нёс и нёс дяде Яше несчастные гроши в надежде на прибыль с казино. Однажды дядя Яша воскликнул негодуя:

– Больше мне своих трёшек не приноси, иначе я пойду по миру!

На что отчаявшийся Грин, – поздним вечером в Купеческом клубе, – еле-еле уговорил Яшу взять пять рублей на ставку. «Это были последние его деньги, – пишет близкий друг Ник. Вержбицкий, – На завтра не был обеспечен даже двадцатипятикопеечный обед в студенческой столовой».

Той ночью, точнее, уже под утро, дядя Яша снял банк в не-сколько тысяч.

Оба они числились отъявленными неугодными гулёнами, транжирами и балагурами, сразу же решив обмыть финансовый успех в кабаке. В такую рань пришлось ехать в знакомую чайную не слишком высокого ранжира, полную всякого мелкого сброда, отребья и проституток, к которым Яков Адольфович питал отеческие чувства. Ну или почти отеческие...

Среди путан особенно выделялась неказистостью одна деваха по прозвищу Манька-Суматоха. Самая бедная из персонала – некрасива и неудачлива даже на фоне и так не слишком роскошной женской доли питейного подвала. От осознания сего Манька стала чрезвычайно замкнутой, неразговорчивой, из-за чего от неё за километр веяло непроходимой тоской и депрессухой.

И вот шустро-богемный набриолиненный дядя Яша и долго-вязо-хмурый, но возбуждённый Грин, изрядно выпив, задумали развеселить «старушку». А заодно себя и всю холопскую округу до кучи. Они решили выдать Маньку замуж!

И не за абы кого, а за очень неплохого кандидата – невзыскательного, но чинного коридорного из мебелированных комнат, находящихся тут же, неподалёку. Претендента величали Ванькой, и когда нашли его и отпотчевали заокеанским пойлом, то выглядел он вполне интеллигентского склада. Выражался пристойно, не спеша, обдуманно. Клиенты интим-салона, между тем, иначе, как «сволочью», прохиндея-Ваньку не называли – за невыносимое двурушничество, крутой нрав, скупость и невероятную алчность. Ну, да то друзьям-филантропам было без надобности.

Вскоре, поддакивая благодетелям: заикаясь от волнения и бурлящего в груди алкоголя, наречённый застенчиво признался Маньке в старинной тайной любви к ней, что только разогнало ход событий. Сию минуту замыслили свадьбу, причём богатую, с шиком: аки у порядочных.

Давненько церковный люд не видывал похожего чуда...

В оживлённом центре столицы, в соборе на Невском, собрался народ, весьма поразивший окружающую публику дичайшим обличьем и запахом. Огромная церковь набита битком, – продолжает Ник. Вержбицкий. – Обитатели-босяки горьковской ночлежки показались бы наблюдателю высшим кругом по сравнению с разношерстным «дном», заполнившим в то утро Вознесенский Храм: оборванные, затасканные, испытые, убогие и хромые, источающие из себя аромат отходов и нечистот всех качеств и фиоритур.

Единственно, в чём их нельзя упрекнуть – это в искренней поддержке и бескрайней симпатии к брачующимся, заворожённо стоявшим перед алтарём под аккомпанемент знаменитых певчих из Александро-Невской лавры. Более того, – что несомненно и недвусмысленно поднимало градус восторженного кипения, – праздничный обед не за горами, господа, э-эх!!

Гулкая толпа в сто человек «господ», – под стать накрытой «царской» зале в трактире недурственно-«второго» разряда, – собралась вослед венчанию торжественно отпировать свадебку. Сам полицейский пристав Семён Семёныч, деловито пошептавшись-побеседовав с дядей Яшей, охранял сие безумство, сиречь вакханалию, сходную разве что с булгаковским балом у Сатаны с жирнющим знаком «минус». Жаль, сравнить себя с воландов-

ской нечистью участники описываемого собрания смогут лишь лет через 15...

Непонятно откуда возникший цыганский табор встречал свадебщиков переиначенными куплетами из «Живого трупа» Льва Толстого:

*С вашим-да покровительством // Мы не пропадём, //
Весело и звонко // Время проведём!..*

Городовые надзирали за обстановкой на улице с однозначным приказом ни в коем разе не пропускать внутрь «чистых»! А исключительно проституток, жуликов-воров, нищих и конченных пройдох-голодранцев.

Во главе стола неистовствовал «посаженный отец» Грин, пьющий уже почти сутки, подаривший обескураженно-заплаканной невесте букет из померанцевых флердоранжей – символ неприкрытой девственности: чуть ли не святости. Жених, в свою очередь, франтом наряжен в новый фрак с галунами и большими медными пуговицами с буквой «Л» – Лиссабон: по названию мексиканских блинчиков для доступных по цене соитий. Суженый и впрямь казался влюблённым, невеста скромной.

Танцы начались одновременно с пиршеством – без ожидания горячих блюд и десерта... Бешеное до сумасшествия буйство длилось до завтрашнего утра: «Пировали долго. Ели, пили, пели и танцевали па-де-патинер и польку “Трам-блям”».

Музыкой и оркестром командовал второй «посаженный отец» – дядя Яша, пригласивший сразу шестерых баянистов, падающих от усталости, сменявших друг друга, чтобы пляс и гогот, покрытые взвизгивающим воплем в сто глоток и топотом двух сотен каблуков, стояли без перерыва и умолку.

Распорядитель трактира Липатыч собственноручно выводил на улицу чрезмерно разнудавшихся посетителей со словами: «Имей уважение! Ты не с фраерами сидишь, а с писателями!», – что обладало сильным воздействием.

Нетрезвые замызганные гости тут же приосанивались и успокаивались, сдуваясь, стравливая кипящую спесь. Ведь они свои среди «высших» – непристойно устраивать бузу в приличном обществе: «Базара нету, командир!».

Манька-Суматоха, смущённо оказавшись средоточием столь пышных событий, парила на седьмом небе от счастья, будто в сказочном сне. В меру уравновешенный Ванька, впервые видевший пред собою море жратвы, утрамбовавший в желудок столько, что

больше уже не лезло, осоловело мигал зенками, прихватывая кое-чего из закусона на карман впрок, и даже успевая подпевать набитым едою ртом:

*Девки стукнули ногами! // Щеголяй, Ваня, щеголяй!
Ширмачи, гуляйте с нами! // Щеголяй, Маня, щеголяй!*

* * *

...Нам неведомо, сложилось ли дальнейшее семейное бытие Ваньки и Маньки.

Дальнейшая же вакхическая предреволюционная гульба «посаженного отца» Грина двигалась в привычном русле, потрясая воображение насыщенностью и необыкновенностью эпизодов и ситуаций: «Его расколотость, несовместимость двух его ликов: человека частной жизни – Гриневского и писателя Грина была в глаза, – резюмировала супруга Вера Павловна, – невозможно было понять её, примириться с ней. Эта загадка была мучительна...».

Впрочем, эта непонятая двойственность относится и к нашему имениннику – Куприну, продолжавшему встречать гостей на свой 43-й день рождения.

И таким образом, не спеша, дело шло к обеду...

Батюшков

Появилась «Петербургская газета» в лице преданнейшего Куприну товарища, репортёра Миши Ялгубцева. «Свой человек», – называл его Куприн, ценя последнего за весёлость, неподкупность и... некую недалёкость в творческом плане, что позволяло Александру Ивановичу чувствовать себя при нём учителем, отцом и в некотором роде божеством, – а он это любил.

Миша деловито приволок целый свиной окорок, завернутый в листы родной газеты, тут же с ненаигранной важностью передав его Елизавете Морицевне со словами: «Возьмите, пригодится», – что только усилило цунами веселья.

Вслед за Мишей подтянулся грузный фельетонист Фёдор Фёдорович Трозинер: «Сэр Пич Брэнди!», – выкрикнул Куприн приросшее к фельетонисту прозвище на появление старого кутилы и грешника. Несмотря на то, что тому было далеко за шестьдесят, он ещё «шевелил усами», – ласково насмеялся Куприн.

За короткий срок оставивший миллионное состояние в лучших петербургских ресторанах и казино, Сэр Пич не падал духом.

По-пиратски изъяснялся хриплым басом и не уставал приуменьшать, – правда, не всегда успешно, – за женским полом.

– Мина! Налей Фёд Фёдорычу полштофца! – Напутствовал Куприн гусара в отставке Миная Бестужев-Рюмина.

Внук знаменитого декабриста со следами сохранившейся красоты и стати, Бестужев-Рюмин был печален и не по возрасту строен. Вино наливал с изящностью. Подавал с неизменной гордостью. Свой бокал исполинским взмахом поднимал высоко, держа его длинными тонкими пальцами, по-молодецки вскинув локоть: «За Россию!», – восклицая любимый тост. – «За неё, родимую!», – подхватывал зал, оборачиваясь к очередному зашедшему на огонёк гостю.

Около камина в столовой, где гулко шуршал-переваливался из угла в угол «народец», в парадном «именном» кресле скромно сидит ближайший, наиблизжайший купринский друг, «отец», – как он его шутливо называл: – Фёдор Дмитриевич Батюшков.

Как они сблизились, – спрашиваю я себя и вас, дорогой читатель, – одному богу известно... Что связывало этих двух столь не похожих друг на друга людей прочными узами дружбы, устоявшей перед многими и многими серьёзными испытаниями времени?

Батюшков – профессор, историк западной литературы, потомок старинного знатного рода, внучатый племянник поэта пушкинской поры «Ахилла»-Батюшкова.

Куприн – чужак с плебейскими замашками, самоучка, непоседа, фантазёр, неуравновешенный «до беспомощности».

Батюшков – филигранно вышколенный, с повадками барина. Умница, высокообразован, трезв, осмотрителен. Всегда умеющий соблюсти необходимый такт.

Куприн – нервный, нетерпеливый до истеричности. Приземистый, со склонностью к полноте. Небрежно и безвкусно одетый. Внезапен, вспыльчив. Торопливая походка, быстрый выразительный жест.

Батюшков – высокий, худощавый, сухое лицо строгого и тонкого профиля. Медленный плавный жест, добрый взгляд спокойных серых глаз. Левая рука на лёгкой трости с изящной ручкой потемневшей слоновой кости.

Куприн – подвижное лицо с упрямым носом и крупными чертами украшено небольшой бородкой и усами, – к ним редко прирагивается гребёнка. Зелёные глаза смотрят живо и пристально, готовые залезть к вам в душу – даже против вашего желания.

Эти два мужчины дружили, совершенно не задумываясь о каких-либо выгодах этой близости. С 1902 г., – со времён сотрудничества в журнале «Мир божий», – они очень дополняли друг друга. И Куприну было страшно даже помыслить, что эта духовная связь может когда-нибудь порваться. Кто ж знал, что совсем скоро – через каких-то 7 лет – им придётся навсегда расстаться, так и не попрощавшись. Один умрёт от голода и жутких хворей. Другой в том же году (1920) получит финский паспорт и окончательно эмигрирует.

«Есть двоякого рода мудрость. Одна легко черпается из книг, другую с трудом берут из жизни. Вторая мудрость куда выше первой. Этой жизненной мудростью, по-моему, проникнуты многие произведения Куприна. Для этого он сам создавал для себя всевозможные, иногда очень трудные условия существования», – говорил Батюшков.

Прекрасно разбираясь в своих чувствах, он не закрывал глаза на недостатки товарища. Но вместо того, чтобы заниматься бесплодным высчитыванием, – что над чем преобладает, – он с одинаковой охотой принимал и хорошее, и дурное. И тяжёлое, и лёгкое...

Обед

Прилично откушав и приняв на грудь, пришедший боманд загудел вновь. Измайлов тут же сел на своего любимого конька: писательская слава, тернии литературной деятельности, вражда, зависть, ложь. Вспомнили недавнюю смерть Толстого (1910 г.) и поднявшийся в связи с этим шум, когда, прикрываясь авторитетом «великого изгнанника», недруги стали грязно сводить личные счёты. А пресса подняла невообразимую какофонию, от которой «за версту разило саморекламой» (Н. Вержбицкий).

Куприн, в стороне беседующий с Батюшковым, услышав прения о Толстом, встрепнулся. Приблизился к столу, встраиваясь в сюжет беседы.

И когда речь зашла о поэзии, кто-то обратился:

– Саша, а вот скажи, почему ты не пишешь стихов?

– Ну почему, – хмыкнул в кулак Куприн, присев на освободившийся стул. – Лет семи от роду я сотворил:

*«Скорее, о, птички, летите
Вы в тёплые страны от нас,
Когда ж вы опять прилетите,
То будет уж солнце у нас»...*

– И?.. – Сзади подошёл Батюшков, задорно улыбаясь: – Чем завершилась сия печаль?

– Чем-чем. А вот чем, – вполборота ответил Куприн. – «Ваши стихи никуда не годятся!» – ошарашил меня Соймонов¹, которому принёс свою тетрадку на проверку. Я тогда аж посерел от оскорбления! (С его-то характером! – И. Ф.) Но теперь бесконечно обязан этому чрезвычайно красивому – нравственно и физически – человеку, бо он отучил меня от никому не нужного рифмоплётства.

– Так уж и отучил? – Не унимался Батюшков.

Куприн по-монгольски сощурился:

– Понимаете... Просто позднее я сам стал различать плохое от хорошего. Во мне проснулось ощущение ритма, литературной гармонии, что ли. Ну, подумайте сами, господа, какие же это стихи:

*... в лугах запестреют цветочки
И солнышко их осветит,
У деревьев распустятся почки
И будет прелестный их вид.*

Раздались жидкие аплодисменты. Кто-то предложил налить по край: «За поэзию!»

– Ну, за поэзию! – гордо, чуть пошатываясь, поднялся Бестужев-Рюмин.

– За неё, родимую! – хором подхватил стол.

– И за Россию!..

– И за неё, родненькую.

– Вы мне не рассказывали про свои стихи, – сказал Батюшков, аккуратно ставя рюмку, – не дай бог опрокинуть.

– Не до того было, – хрустнул огурцом Куприн, звякнув очередным бокалом. – Репортёрская подёнщина не терпит лирики.

– Уж точно... – согласился Батюшков, вспоминая газетные будни начала века.

– Я удачно встретил Пальмина². Спасибо ему. С тех пор так и дышу литературой. Дышу трудом, как мне кажется, самым тя-

¹ М.Н. Соймонов (1851–1888 гг.) – русский поэт. По окончании юридического факультета Казанского университета служил в окружном суде. С 1879 г. – адвокат в Петербурге. Стихи печатались в «Русском богатстве», «Деле», «Наблюдателе», «Всемирной иллюстрации», «Живописном обозрении», «Новом времени». При жизни не издавался. Посмертный сборник: «Недопетые песни» (СПб, 1891). На тексты Соймонова писали романсы малоизвестные композиторы Геркен, Гот, Прокушинский, Траилин.

² И.И. Пальмин – русский поэт. Из дворян Ярославской губ., воспитанник СПб. 3-й гимназии. Первые его стихотворения появились в «Веке»



Могила А.И. Куприна
на Литераторских мостках
в Петербурге

жёлтым, который может себе представить человеческая фантазия.

Зал притих. Все слушали Куприна.

– Ревность, зависть, честолюбие, боязнь упадка мысли, невольное подражание образцам, литературные сплетни, лазанье публики в твою интимную жизнь... Ах, боже мой, – всего и не перечислишь. И всё это – литература.

Слышно, как в саду чирикают воробьи, перекликаясь с синичками и дроздами.

Куприн сделал театральную паузу. Никто даже не шелохнулся. Ведь все любили именно такие вот импровизированные выпадывы в сторону уклада жизни, вечных вопросов бытия...

– Как был бы я рад, – Александр Иванович по-учительски встал, объяв всех взором, распахнув пиджак, широко раскинув руки в стороны. – Как был бы я рад, – повторил он, – если бы на моей могиле никто не произнёс слов: *Ещё одна развёрстая могила, Ещё один великий ум угас!* Или: «Как жаль, что все русские писатели вели ненормальный образ жизни!». Кстати, – обвёл всех хитрым прищуром, – нотариальным порядком я бы запретил кому бы то ни было любоваться моим трупом! Меня нет дома. Меня – нет – дома! Меня нет. Нет. Точка.

Литература

Н. Вержбицкий. «Встречи с Куприным», также «Воспоминания» разных лет.

К.А. Куприна. «Куприн – мой отец».

Г. Киров

П. Вейнберга и «Библиотеке для Чтения» А. Писемского. Вскоре вошёл в кружок сотрудников «Искры» В. Курочкина. Работал в ней почти до самого её прекращения. С 1869 г. поселился в Москве. Принимал участие в разных, по преимуществу юмористических, журналах, в «Рус. Мысли». Полное собрание его оригинальных и переводных стихотворений издано редакцией журнала «Рус. Мысль».